

Мишель де Серто

По городу пешком*

Глазеть – гулять

Каким предстанет Манхэттен с высоты сто десятого этажа Всемирного торгового центра, если *увидеть* его по-настоящему? Внизу, в дымке ветров, город-остров – или иное море: оно вздыбилось небоскребами Уолл-стрита, успокаивается в Гринич-Виллидж, снова вздымается гребнями центрального Манхэттена, стихает в Центральном парке и, наконец, за барашками Гарлема, устремляется вдаль. Волнообразное движение вертикалей. И вот, на мгновение, их переливы останавливаются во взгляде. Гигантский поток скован взглядом, превращен в текстурологию**, где сходятся грубые контрасты рас и стилей. Не менее разителен контраст между заброшенными величественными билдингами, в одночасье превратившимися в мусорные баки, и обилием «временок», загромождающих городское пространство. Нью-Йорк – не Рим: он так и не овладел искусством стареть, играя своими эпохами. Его настоящее ежечасно творит себя заново, отбрасывая достижения прошлого и бросая вызов будущему. Это город конвульсий, запечатленных в монументальных рельефах; наблюдатель может прочесть его как вселенную нескончаемого взрыва. В образ этого города вписаны архитектурные фигуры *coincidatio oppositorum*, что некогда встречались на средневековых миниатюрах и в произведениях мистиков***. На этой сцене из бетона, стали и стекла, отрезанной холодной водой от «океанов» Атлантики и Америки, самые высокие буквы в мире декламируют гигантское сочинение на тему излишеств в производстве и потреблении¹.

Но к какому классу эротических эффектов знания отнести экстаз от чтения этого пространства? Уже насладившись, я задаю себе вопрос – в чем источник удовольствия «видеть всё», смотреть сверху вниз, охватить самый необъятный из текстов, созданных человеком?

Подняться на вершину ВТЦ означает вырваться из лап города. Тело больше не сжимается улицами, свободно от их безличной власти вертеть и разворачивать; его уже не оглушают кричащие контрасты и не нервирует нью-йоркский транспорт. Поднимаясь наверх, человек оставляет позади себя поток, похищающий и перемешивающий любые «я» – и творцов, и зрителей. Новый Икар, он парит над волнами, и может пренебречь уловками Дедала, пригодными лишь для бесконечных подвижных лабиринтов внизу. Вознесение есть преобразование – в Видящего. Мир, которым он был одержим, точно наваждением, теперь лежит перед ним, как открытая книга – он может читать его, стать солнечным Оком,

* M. de Certeau. *Marches dans la ville // L'invention du quotidien*. Vol. 1. Arts de faire. Paris: Gallimard, 1990. Chap. 7.

© Космарский А., 2008.

© Центр фундаментальной социологии, 2008.

** Не «текстура», а именно «текстурология». «Суффикс –логия (от “логос”) обычно отсылает к научному, к рациональному дискурсу ... Но в тексте де Серто он обозначает не сам дискурс, а его предмет. Автор изобретает не науку “текстурологию”, а критический концепт, раскрывающий суть определенного научного дискурса» (S. Gosselin, *Atelier philosophique n°4: cabinets de curiosités / APO33. Ateliers de l'année 2002-2003. Voyeurs et marcheurs, lire avec Michel de Certeau, par Sophie Gosselin*. (<http://jottavi.nerim.net/divers/atelier4test.html>). – Прим. перев.

*** Один из ключевых тропов мистической риторики, известный главным образом в формулировке Николая Кузанского: *coincidentia oppositorum*, или единство противоположностей – это Бог, в Котором все различия мира примиряются, не утрачивая своей сущности – Прим. перев.

¹ См. замечательные работы А. Медама (Alain Médam): “New York City”, *Les Temps modernes*, Août-Septembre 1976, pp. 15-33; *New York Terminal*, Paris: Galilée, 1977.

смотреть свысока, подобно богу. Гностическо-скопическая экзальтация. Быть лишь зрячей точкой и более ничем – в этом и заключается эффект познания.

В конечном счете, обречен ли я вернуться в темное пространство шевелящихся толп, видимых с высоты и слепых там, внизу? Падение Икара. Плакат на сто десятом этаже, подобно сфинксу, обращается к пешеходу (визионеру на час) с загадочным посланием: *It's hard to be down when you're up* *.

Воля к видению города родилась прежде технических возможностей ее реализации. Художники Средневековья и Возрождения изображали город в перспективе, еще недоступной человеческому глазу, превращая своих зрителей в богов². Так много ли нового во «всевидящей власти»³ нашей техники? Изобретение живописцев былых времен – тотализирующий (*totalizant*) взгляд – живет в наших творениях; их утопия материализуется в современной архитектуре. 415-метровая башня, этот ростр Манхэттена, проясняет сложность города и фиксирует его непроницаемую изменчивость в прозрачном тексте; это повествование само творит своих читателей.

Необъятная текстурология – свиток, развернутый перед моими глазами – лишь репрезентация, оптический артефакт; в нем используется та же проекция, дистанцирующая и упорядочивающая пространство, что и в творениях инженеров, градостроителей и картографов. Город-панорама («теорийный»^{**}, т.е. визуальный симулякр) возможен только в силу забвения и превратного толкования повседневных практик. Бог-наблюдатель, творящий эту фикцию, подобно шреберовскому Богу^{***}, видит только трупы; он должен подняться над темной мешаниной повседневности и стать ей чужим.

Однако жизнь горожан протекает на земле, ниже порога обозримости. Тела этих пешеходов, *Wandersmänner*, следуя всем изгибам городского «текста», записывают его, но неспособны прочесть – познают город вслепую (словно любовники – тела друг друга). Переплетение путей, непризнанные поэмы, чьи знаки наступают друг на друга, ускользают от прочтения (кажется, самая характерная черта практик городской жизни – слепота⁴). Сети этих писаний составляют многослойную историю, где нет ни авторов, ни зрителей; историю, сплетающуюся из фрагментов маршрутов и многообразия личных пространств выкроенных из пространственных фрагментов: историю, противостоящую репрезентациям – своей повседневностью, неопределенностью, инакостью.

Повседневность, ускользая от визуального учета и контроля, в некотором смысле не обладает поверхностью; или ее поверхность – лишь верхний предел, выделяющийся на фоне видимого. Именно в этих границах я обнаруживаю практики, чуждые «геометрическому» или «географическому» пространству визуальных, паноптических^{****}, теоретических

* На высоте трудно быть в подавленном состоянии. – Прим. перев.

² См.: H. Lavedan, *Les Représentations des villes dans l'art de Moyen Age*, Paris: Van Oest, 1942; R. Wittkower, *Architectural Principles in the Age of Humanism*, New York: Norton, 1962; L. Martin, *Utopiques: Jeux d'espaces*, Paris: Minuit, 1973 и др. работы.

³ См.: Фуко М. *Око власти* // Фуко М. *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. М.:Праксис, 2002. Ч.1. С.220-248.

** От греческого θεωρέω – смотреть – Прим. перев.

*** «В соответствии с Мировым Порядком Бог действительно ничего не знал о живых людях и не имел нужды знать; по законам Мирового Порядка ему лишь нужно было сообщаться с трупами... В свете вышесказанного, по моему убеждению, следует ещё раз подчеркнуть, что Бог был, если можно так выразиться, совершенно неспособен к общению с живыми людьми, и привык лишь общаться с трупами, или, по крайней мере, со спящими людьми (то есть, являясь им во сне)» (D. P. Schreber, *Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken*, Leipzig: Oswald Mutze, 1903. S. 55, 141. Цит. по: Фрейд З. *Психоаналитические заметки об автобиографическом описании случая паранойи (Случай Шребера)* [1911] // *Психоанализ*. Киев. №2. 2003. См. также: <http://www.psychoanalyse.ru/practice/shreber.html> – Прим. перев.

⁴ Уже Декарт в «Правилах для руководства ума» делает слепца гарантом познания вещей и мест, свободным от заблуждений и иллюзий, порождаемых зрением.

**** От «Паноптикон» – термин Иеремии Бентама, обозначающий особую конструкцию тюрьмы, позволяющую надзирателю наблюдать (–оптикон) всех (пан–) заключенных, причем они никак не смогли бы узнать, смотрят на них сейчас или нет. Идея и сам термин приобрел известность в XX в. главным образом благодаря Мишелю Фуко – Прим. перев.

конструкций. Они отсылают к иному способу обращения с пространством, к иной спациональности («антропологическому», поэтическому и мифологическому пространству⁵), а также к **темному и слепому** течению городской жизни. Таким образом, в прозрачный текст спланированного города вторгается город **кочевой**, город метафорический.

Город: от концепта к практикам

Впрочем, Всемирный торговый центр – лишь один монументальный образец западного урбанизма. Утопия/апатия оптического знания родилась из стремления выявить и преодолеть противоречия, связанные с концентрацией городского населения. Как говорил Эразм Роттердамский, «город – это огромный монастырь». Перспектива (в живописи) и рациональное планирование – вот орудия, позволившие спроецировать темное прошлое и неясное будущее на контролируемую поверхность. Появление этих двух сил ознаменовало (не в XVI ли веке?) превращение города из **факта в концепт** – и, еще задолго до того, как тот воплотился в истории, город уже мыслился как отдельная единица, которой можно оперировать в рамках урбанистической рациональности. Город не приравнивается к своему концепту, но их отношения постепенно становятся симбиотическими: планировать город – значит **помыслить саму множественность** реального и, далее, придать этому образу мысли **действенность**.

Работает ли концепт?

Каковы условия реализации «города» утопического и урбанистического дискурса⁶?

1. Производство его **собственного/правильного** пространства (*un espace propre*) – следовательно, рациональная организация города должна устранить всё, что мешает его физическому, ментальному и политическому здоровью.

2. Ахрония (*non-temps*), или вечная одновременность, приходит на смену времени неуловимых и упрямых традиций. Научно точные (благодаря умению проецировать все данные на плоскость) стратегии обязаны прийти на смену тактикам социальных агентов, норовящих «воспользоваться случаем» и, благодаря разного рода непредвиденным обстоятельствам, снова и снова воспроизводить беспорядок истории.

3. Наконец, создание **универсального** и автономного **субъекта** – самого города. Как и его корреляты в области политической теории, гоббсовское государство, город постепенно берет на себя все функции и свойства, до того разбросанные и разделенные среди множества различных субъектов – групп, сообществ и индивидов. «Город», подобно словарному определению, позволяет воспринимать и конструировать пространство на основе ограниченного числа стабильных, отделяемых друг от друга, но взаимосвязанных свойств.

В этом пространстве, организуемом «спекулятивными» и классифицирующими операциями⁷, управление идет рука об руку с уничтожением. С одной стороны, устройство города усложняется (в результате перераспределения функций, перемещений, накопления капиталов и рабочей силы и т.д.); с другой стороны, всё, что не поддается такого рода управлению, «отходы» функционалистской администрации – преступность, сумасшествие, болезнь, смерть – бракуется и отбрасывается. Конечно, прогресс возвращает в сферу административной компетенции всё большее число этих «отходов», и даже изъяны в системах (здравоохранения, правопорядка и пр.) помогают сделать сети порядка более

⁵ Ср. Мерло-Понти М. *Феноменология восприятия*. СПб.: Ювента/Наука, 1999. С. 366-370.

⁶ См. F. Choay. *Figures d'un discours inconnu // Critique*. Avril. 1973. P. 293-317.

⁷ Урбанистические техники, организующие вещи в пространстве, можно возвести к традиции «искусства памяти» (Йейтс Ф. *Искусство памяти*. СПб.: Университетская книга, 1997). Способность видеть знание как пространство (где каждой фигуре или функции отведено свое «место») развилась на основе этого искусства; именно оно стало организующим принципом западных утопий, вплоть до бентамовского Паноптикона. Его форма остается неизменной, как бы ни менялись, в зависимости от эпистемы, содержание (прошлое – воспоминания, настоящее, будущее) и направленность конкретных проектов (сохранять или создавать).

плотными. Однако режим не перестает производить эффекты, прямо противоположные его задачам: система наращивания прибылей рождает убытки – нищета и расточительство постоянно сводят производство на нет «издержками» и «тратами». Более того, рационализация города приводит к его мифологизации в стратегических дискурсах – т.е. в расчетах, основанных на возможности или необходимости разрушения города во имя «окончательного решения вопроса»⁸.

Наконец, организация города в функционалистском духе, превознося прогресс (т.е. время), предаёт забвению пространство – условие своего существования; пространство становится «слепым пятном» технологий науки и политики. Это территория превращений и присвоений, объект всевозможных вмешательств, но вместе с тем субъект, обретающий всё новые свойства; равно реквизит и герой этой пьесы современности (*modernité*).

Какими бы ни были воплощения города-концепта в прошлом, сегодня приходится признать: хотя в области дискурса он остается опорной точкой социоэкономических и политических стратегий (элементом, сводящим всё воедино и при этом почти мифичным), то в самой городской жизни возрождаются явления, вычеркнутые урбанистическим проектом. Язык власти «урбанизируется» – зато город перестает быть объектом регулярных операций; он отдан противоречивым силам, играющим в свои игры вне досягаемости паноптического контроля. Город становится любимой темой популярных политиков, но более не является пространством реализации просчитанных и контролируемых операций. Под покровом идеологизирующих город дискурсов множатся иные силы – они хитрят, ускользают, вступают в союзы; их трудно идентифицировать, понять, ухватить – поэтому они не поддаются управлению.

Возвращение практик

Город-концепт переживает упадок. Значит ли это, что болезнь урбанистического *ratio* и его творцов поразила самих горожан? Возможно, это и так, и города деградируют вместе с организовавшим их порядком. Но будем осторожными – жрецы разума всегда верили: если наша идеология или статус под угрозой, вся планета в опасности. Они превращают неудачу своих теорий в теории неудач, маскируя свое замешательство алармизмом. Неужели их правота неоспорима?

Итак, от риторики прогресса к риторике катастрофы – обречены ли мы оставаться в поле этого дискурса? Возможен иной путь: обратиться к практикам «микробного» уровня, пережившим ослабевшую урбанистическую власть, которая уже не может управлять или подавлять их; проследить за размножением этих процедур, которые, будучи неподконтрольны паноптической власти, укрепляются в условиях растущей незаконности и просачиваются в систему надзора. Они комбинируются в соответствии с алгоритмами (не формулируемыми, но стабильными), составляя ткань повседневного изобретательного мошенничества, – ткань, которую обезумевшие механизмы и дискурсы надзирающей власти могут только скрывать.

Описанное направление анализа многим обязано Мишелю Фуко (и во многом является ответом на его проект). Однако тот, изучая структуры власти, обратился к техническим процедурам, «малым средствам», призванным с помощью управления, дифференциации и классификации любых отклонений, касающихся здоровья, труда, образования, правосудия и армии, превратить неорганизованные человеческие массы в дисциплинарное общество⁹. Эффективность этих мельчайших уловок порядка, небольших, но надежных механизмов зависит от того как их процедуры взаимодействуют с пространством, которое они перераспределяют и используют. Но какие **пространственные практики** реализуются в зоне действия этих машин по производству дисциплинарного поля? Данный вопрос обретает особую значимость в современной ситуации, отличающейся

⁸ См.: A. Glucksmann. *Le Totalitarisme en effet // Traverse*. 1977. №9. P. 34-40.

⁹ Фуко М. *Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы*. М.: Ad Marginem, 1999.

коллективным характером власти над пространством и индивидуальным характером его присвоения (*reappropriation*), ведь пространственные практики исподволь формируют определяющие условия социальной жизни. И свою задачу я вижу в том, чтобы проследить за некоторыми из этих процедур – многообразных, жизнестойких, хитрых, упрямых процедур, ускользающих от порядка, не покидая пределов поля его действия, чтобы привести нас к теории – к теории повседневных практик, обитаемого пространства, тревожащей неофициальности механизмов города.

Речь забытых шагов

*По поступи истинную узнали богиню.
Вергилий, «Энеида», I, 405*

Всё начинается с шагов. Их множество не складывается в четкие ряды. Они не поддаются статистике – у каждого свой голос, каждый ощущается и приводится в движение по-своему. Их оглушительная масса – это коллекция неисчислимых индивидуальностей. Благодаря шагам точки соприкасаются и пространства обретают плоть. В сущности, движения пешеходов образуют одну из тех «реальных систем»¹⁰, из которых складывается город. Шаги не локализованы в пространстве, но, скорее, сами продуцируют его. Их также можно уподобить иероглифам, которые китайцы, в уличном диалоге, рисуют пальцами на ладонях.

Конечно, движения ног можно проследить, фиксируя на картах их следы (тропы – там проторенные, здесь еле заметные) и траектории (выбирается один маршрут и отвергается другой). Но эти видимые линии лишь отсылают (как и слова) к отсутствию того, кто прошел. Каталоги маршрутов упускают то, что происходит на деле: сам акт хождения. Бродить, гулять, глазеть по сторонам – движение прохожих преобразуется в точки и линии на карте, и нашим глазам открываются лишь останки, размещенные в ахронии (*nowhen*) проекционной поверхности. Видимое (карта) скрывает породившее его действие; практики подменяются своими следами. Такая вот (хищная) особенность географической системы: обеспечивая «читаемость» действий и событий, она нередко способствует забвению бытия-в-мире.

Пешеходно-речевые акты

Сравнение ходьбы с речевым актом позволит нам продвинуться дальше¹¹, не ограничиваясь лишь критикой карт и других графических репрезентаций. Ходьба относится к городу так же, как речевой акт – к языку¹². На самом базовом уровне это действие обладает тройной «произносительной» функцией. Во-первых, своими шагами пешеход **присваивает** топографическую систему (аналогично тому, как говорящий присваивает и осваивает язык). Во-вторых, в ходьбе «разыгрывается» пространство (как в речевом акте разыгрывается, акустически, язык). Наконец, шаги увязывают различные места в некую систему **отношений** (ведь и речевой акт всегда направлен на кого-то и актуализирует определенные отношения между собеседниками)¹³.

Аналогии можно продолжить: акт письма – и письменный текст; движение кисти – и законченная картина (форма, цвет и т.д.). Речевой акт, первоначально описанный на примере устной коммуникации, оказывается лишь одним из вариантов: его лингвистическая

¹⁰ Ch. Alexander. La Cité semi-treillis, mais non arbre // *Architecture, Mouvement, Continuité*. 1967.

¹¹ См. замечания Ролана Барта: «Мы говорим на нашем городе... просто обитая в нем, передвигаясь по нему, глядя на него (*Architecture d'aujourd'hui*, №153. Decembre 1970–Janvier 1971. P. 11-13). Ср.: С. Soucy. *L'Image du centre dans quatre romans contemporaines*. Paris: CSU, 1971. P. 6-15.

¹² См. многочисленные исследования по этой проблематике, начиная с «Что такое речевой акт?» Дж. Серля (Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986).

¹³ Бенвенист Э. *О субъективности в языке* // Он же. *Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974. С. 292-300.

модальность – лишь частный случай куда более общезначимого различия между **формами, используемыми** в системе, и **способами использования** этой системы (т.е., **правилами**). Это два разных мира, поскольку один и тот же объект видится в двух взаимоисключающих системах координат.

Вдохновившись лингвистическими параллелями, мы выделяем три свойства пешеходно-речевого акта, сразу отличающие его от системы пространства: импровизированность, дискретность, фатичность.

Начнем с первого. Если пространственный порядок организует ансамбль возможностей (т.е. набор мест, куда можно пойти) и запретов (например, преграждающий путь забор), то пешеход реализует какие-то из этих возможностей; он дает им бытие. Но он также смещает их и изобретает другие возможности – пешеход способен блуждать, менять маршрут, импровизировать, благодаря чему одни точки в пространстве существуют всегда, а другие оказываются заброшенными. Взгляните на Чарли Чаплина, что только он не вытворяет со своей тросточкой, как он умножает ее возможности, постоянно выходя за рамки общепринятых способов обращаться с этим объектом. Так и пешеход преобразует любые пространственные означающие. И хотя он реализует лишь ограниченное число возможностей, предлагаемых существующим порядком (идет сюда, а не туда), он постоянно увеличивает их число (идет наискосок или в обход), а также создает новые запреты (например, принципиально отказываясь следовать общепринятым или обязательным маршрутам). Таким образом, он производит отбор: «носитель городского языка выбирает фрагментарные высказывания, чтобы в тайне произнести их»¹⁴.

Отсюда и дискретность: выбирая те или иные означающие языка пространства, меняя их смысл по ходу употребления, пешеход обрекает одни слова/места на стертость или на забвение, другие же «складывает» в необычные, случайные, недопустимые речевые/пространственные обороты. Так мы приходим к риторике ходьбы.

Но вернемся пока к речевым актам. При пешеходном высказывании сразу возникает «близь» и «даль», **здесь** и **там** – относительно позиции идущего. Присутствие местоименных наречий в языке (как дейктических средств, обеспечивающих локализацию говорящего и объекта речи¹⁵) – еще один аргумент в пользу параллелизма речи и ходьбы. Оппозиция «здесь» versus «там» помогает определить, в какой точке пространства сейчас находится движущееся «я», но также вводит «Другого» по отношению к «я» говорящего, объединяя и разделяя места относительно движущихся субъектов. Для нас особенно важна фатическая функция языка (слов и движений): ее выполняют обороты, устанавливающие, поддерживающие или прерывающие контакт («алло», «угу», «ну-ну» и т.п.¹⁶). Каждый следующий шаг продолжает предыдущие и окружающий ландшафт вплетается в это органичное движение, превращаясь в последовательность фатических топосов. И если фатическая функция присутствует даже в языке говорящих птиц, и если именно ею первой овладевают дети, неудивительно, что и в пешеходно-речевом акте, открывая разговор или вклиниваясь по ходу, она ведет себя соответствующе – подпрыгивает, ползет на четвереньках, пританцовывает, переваливается с ноги на ногу, придавая речи легкость или весомость, подобно череде «алло» в лабиринте телефонных эхо.

Так пешеходная речь выявляется при помещении ее на карту; было бы интересно рассмотреть ее модальности, т.е. определенного рода отношения, которые речь устанавливает с отрезками пути («высказываниями»), придавая им значения истинности («алетические» модальности: необходимое, возможное, невозможное, случайное), знания («эпистемические» модальности: несомненное, исключаемое, вероятное и сомнительное), и, наконец, модальности, связанные с долженствованием («деонтика»: обязательное, необязательное,

¹⁴ Barthes R. Op. cit. Цит. по: C. Soucy, *L'Image du centre...* P. 10.

¹⁵ «Здесь и сейчас ограничивают непосредственно данные место и время, тождественные по положению в пространстве и во времени с речевым актом, содержащим я» (Бенвенист Э. *Природа местоимений* // Он же. *Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974. С. 287).

¹⁶ Якобсон Р. *Лингвистика и поэтика* // *Структурализм «за» и «против»*. М., 1975. С. 193-230.

разрешенное и запрещенное¹⁷). Ходьба утверждает, ставит под подозрение, испытывает, покидает и возвращается на маршруты, которые она «проговаривает». Все модальности участвуют в этой игре, меняясь от шага к шагу, так, что их соотношение, последовательность и интенсивность варьируются в зависимости от времени, выбранного пути, личности пешехода. Разнообразие пешеходно-речевых актов бесконечно, его невозможно свести к следам на карте или фотографии.

Риторика ходьбы

Прогулка раскладывается на последовательности поворотов, которые можно уподобить «оборотам речи», стилистическим фигурам. Риторика ходьбы: искусно строить фразу и выстраивать маршрут. Как и в естественном языке¹⁸, это искусство предполагает комбинации стиля и узуса. **Стиль** – «лингвистическая структура, проявляющая на символическом уровне фундаментальность индивидуального бытия-в-мире»¹⁹ – единичен. Узус же – социальный феномен, посредством которого реализуется коммуникативная система; он, напротив, отсылает к коллективной норме. И стиль, и узус относятся к образу действия (говорения, хождения и пр.), но стиль – это индивидуальные особенности обработки символического, а узус связан с элементами кода. Вместе они создают «стиль употребления», способ действия и способ бытия²⁰.

Вслед за современными урбанистами, которые сформулировали и разработали теорию «риторики проживания» (*rhétorique habitante*)²¹, мы находим в риторических «тропах» модели, помогающие нам анализировать присвоение пространства пешеходом. Правомерность такого сопоставления можно обосновать, как мне кажется, двумя постулатами. Во-первых, пространственные практики так же манипулируют, «переворачивают» элементы некоей структуры; во-вторых, как и риторические тропы, они являются отклонениями от «буквального значения», определенного системой урбанизма.

Таким образом, между фигурами речи и фигурами ходьбы обнаруживается гомология (можно вспомнить еще и о стилизованной подборке последних в фигурах танца). И те, и другие состоят из операций над изолированными единицами языка²² и «двусмысленных расстановок», смещающих значение в сторону неоднозначности²³ – подобно тому, как сдвинувшийся объектив в момент фотосъемки искажает и раздваивает объект. И еще одна аналогия: геометрическое пространство архитекторов и урбанистов имеет тот же статус, что и «прямое значение слова», изобретенное грамматиками и лингвистами (ведь для описания «искривленного», фигуративного языка необходима норма, нормативные значения, от которых он отклоняется). На самом же деле в повседневной жизни отвлеченное «собственное значение» (*ce "propre" sans figure*)²⁴ никогда не используется ни пешеходами,

¹⁷ О модальностях см.: H. Parret. *La Pragmatique des modalités*. Urbino: Centro di Semiotica, 1975; A. R. White. *Modal Thinking*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975.

¹⁸ См. P. Lemaire. *Les Signes sauvages. Une Philosophie du langage ordinaire*. Ottawa: Université d'Ottawa et Université Saint-Paul, 1981 (особенно введение).

¹⁹ A. J. Greimas. *Linguistique statistique et linguistique structurale* // *Le Français moderne*. Octobre 1962. P. 245.

²⁰ За данные по смежной области – риторика и поэтика языка жестов у глухонемых – я благодарен Э. С. Клима (университет Калифорния-Сан-Диего) и У. Беллуги («Поэзия и песня в беззвучном языке», рукопись). См. также E. S. Klima. *The Linguistic Symbol with and without Sound* // *The Role of Speech in Language* / Ed. by J. Kavanagh and J. E. Cuttings. Cambridge, Mass: MIT, 1975.

²¹ A. Médam. *Conscience de la ville*. Paris: Anthropos, 1977; S. Ostrowetsky. *Logiques du lieu* // *Semiotique de l'espace*. Paris: Denoël-Gonthier Médiations, 1979. P. 155-173; J.-F. Augoyard. *Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain*. Paris: Seuil, 1979.

²² В своем исследовании П. Бурдьё утверждает, что в практиках приготовления пищи ключевую роль играют не сами ингредиенты, а то, как с ними обращаются, как их готовят. См.: P. Bourdieu. *Le Sens pratique* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. Février 1976. P. 27.

²³ J. Sumpf. *Introduction à la stylistique du français*. Paris: Larousse, 1971. P. 87.

²⁴ Теорию «пропре» см. у J. Derrida. *Marges – de la philosophie*. Paris: Minuit, 1972. P. 247-324. О многозначности этого понятия (собственный/точный) см. замечания переводчика Ж. Деррида: «Помимо основных значений

ни носителями языка – это абстракция, порожденная узусом особого рода – метаязыковым узусом науки (та же становится самостоятельной сферой именно благодаря выделению этой абстракции).

Пешеходный эпос играет с пространственными структурами, какими бы паноптическими те ни были; они ему не чужды (так как они распадаются в том же месте), но и не сходны (потому что не они определяют его сущность). Благодаря этому эпосу в пространство проникает тень и двусмысленность, многочисленные ссылки и сноски (социальные параметры, культурные модели, человеческий фактор). Эта эпическая поэма складывается из встреч и случайностей, которые непрестанно ее меняют и превращают ее в символ Другого; ее можно сравнить и с коробейником, продавцом маршрутов – поражающих, неожиданных, соблазнительных. Все эти аспекты составляют основу «риторики шагов», определяют ее.

Вслед за Ж.-Ф. Огояром²⁵ мы выделяем две фундаментальные стилистические фигуры, описывающие два полярных и в то же время взаимодополняющих свойства пространственных практик: синекдоху и асиндетон. **Синекдоха** называет предмет словом, обозначающим его часть²⁶: так «голова» обозначает «человека» в хрестоматийном стихе Расина*. Аналогично, при описании маршрута парк, например, становится «тем холмом» или «кирпичной сторожкой». **Асиндетон** – опущение союзных слов, союзов и наречий, связывающих грамматически однородные слова или предложения («пришёл, увидел, победил»). В движении так отбираются и фрагментируются пройденные пространства; ходьба снова подпрыгивает (вспомним фатику), вернее, скакать на одной ножке, как ребенок. Она пропускает связующие звенья-места.

Однако две эти фигуры тесно связаны. Синекдоха растягивает пространственные элементы, делает часть целым (велосипед или мебель на витрине становятся знаком всей улицы или квартала). Асиндетон же выталкивает, уменьшает пространство, пробивает в нем бреши, – по сути, оставляет только избранные места, по сути, одни останки. Синекдоха заменяет целостности фрагментами («минус» вместо «плюса»); асиндетон разъединяет их, убирая связующие звенья, нарушая последовательность («ничто» вместо «чего-то»). Синекдоха уплотняет: увеличивает детали и «сжимает» целое. Асиндетон обрубаёт: он разрывает связность и лишает ее убедительности. Пространство под воздействием этих фигур превращается в разросшиеся частности и отдельные островки²⁷.

В сжатии, разбухании, фрагментации пространства рождается речь – антологического (собранный из пригнанных друг к другу цитат) и эллиптического (склеенная из лакун, оговорок и аллюзий) типа. Благодаря фигурам пешеходной риторики технологическая система цельного и обобщающего пространства, с ее пафосом единства и одновременности, замещается траекториями, чья структура подобна структуре мифа – если под «мифом» понимать дискурс, привязанный к индивидуальному существованию (нередко безвестному и безместному); или же истории, собираемые каждым человеком из обрывков «народной мудрости», пробелов, аллюзий – фрагментов, в лакуны между которыми оказываются встроены социальные практики, которые сами истории призваны символизировать.

(«собственность», «свойство», «собственный смысл»), можно выделить два главных контекста употребления этого термина: «прогресс» в противопоставлении «figuré» значит «прямой, точный» (в противопоставлении «образному»), а «прогресс» в противопоставлении «commun» (noms communs) подразумевает собственное имя (в противоположность имени нарицательному). Автономова Н. *Деррида и грамматология* // Деррида Ж. *О грамматологии*. М.: Ad Marginem, 2000. С. 99. – Прим. перев.

²⁵ J.-F. Augoyard. *Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain*. Paris: Seuil, 1979.

²⁶ Т. Тодоров. *Synecdoques* // *Communications*, №16. 1970. P. 30. См. также: P. Fontanier. *Les Figures du discours*. Paris: Flammarion, 1968. P. 87-97; J. Dubois et al.. *Rhétorique générale*. Paris: Larousse, 1970. P. 102-112.

* «J'ignore le destin d'une tête si chère» (Racine, «Phèdre», 6) – букв., «не ведаю судьбы столь милой головы» – Прим. перев.

²⁷ О пространстве, разбиваемом практиками на «острова» см. P. Bourdieu. *Le Sens pratique*. P. 51-52; Idem.. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Genève: Droz, 1972. P. 215 ff.

Таковы стилистические метаморфозы пространства, и фигуры запечатлевают их в поэмах. Пользуясь образом Рильке, их можно назвать «деревами движенья»*. Они способны оживить даже застывшую и расчерченную территорию интерната для умственно отсталых детей: те находят место (чердаки или пустыри) для игр и танцев, для воплощения своих «пространственных историй»²⁸. Поэтические деревья никогда не стоят на месте, их леса шагают по улицам. Они преобразуют городское действо, не будучи декорациями – их невозможно зафиксировать, привязать к какому-либо конкретному месту или образу. Если здесь всё же не обойтись без иллюстраций, укажу на мимолетные фигуры, желтовато-зеленые и серебристо-синие каллиграфии, заходящиеся в беззвучном крике, расписывающие собой подземные коридоры города, вышивки из букв и цифр, безупречные жесты насилия, нарисованные из «пистолета», Шивы писем, танцующие под стук подземки: нью-йоркские граффити.

Древа движенья «проявляют» пространство, но их шаги невозможно поймать изображением – как и заключить в текст их смысл. Их риторический танец размывает и переворачивает аналитичные, четкие, прямые значения урбанизма. Мириады пешеходов создают «блуждающую семантику»²⁹, акцентируют одни части города, другие же обращают в небытие, деформируя, разбивая город, вырывая его из-под недвижимого порядка.

Мифы: что заставляет вещи двигаться

Синекдоха, эллипсис и другие риторические фигуры движения отличают «символизм бессознательного» и одновременно принадлежат к «некоторым типичным приемам выражения субъективности в речи»³⁰. Сходство «речи» (*discours*)³¹ и снов³² связано с общностью стилистических процедур, которые они применяют – значит, пешеходные практики тоже можно включить в этот ряд. «Древний каталог тропов», снабдивший столь многих, от Фрейда до Бенвениста, инвентарем, подходящим для описания риторики первых двух способов выражения, пригоден и для третьего. Речь, сны и ходьбу объединяет не только ориентация на высказывание (*énonciation*), но и то, что их дискурс разворачивается в отношении между **местом**, откуда он начинается (исходная точка), и тем **«не-местом»** (*non-lieu*), которое он производит (стиль прохождения).

Теперь, очертив аналоги шагов пешехода в сфере лингвистики, мы можем сравнить их и с онейрическими фигурами, или, по крайней мере, увидеть, чем движение по городу схоже с прогулками во сне. Идти – значит быть лишенным места. Это бесконечный процесс отсутствия и поиска собственного места. Блуждания, которые город умножает и концентрирует, делают городскую жизнь масштабным социальным опытом утраты места. Конечно, этот опыт притупляется в ходе бесчисленных незначительных перемещений, и компенсируется за счет встреч и связей между изгнанниками. Его проживание всегда проходит под знаком Города: того, что должно было быть, в конечном счете, местом, но является лишь именем.

* Цитируется 44-ый «Сонет к Орфею» Р.-М. Рильке (в оригинале – “Baum aus Bewegung”). Автор статьи имплицитно отсылает к мифологическому эпизоду, известному прежде всего по «Метаморфозам» Овидия (X, 88-154): деревья, увлеченные пением Орфея, сходят с места, и на пустом холме, где сидел певец, появляется тень. – *Прим. перев.*

²⁸ См. A. Baldassari et M. Joubert. *Pratiques relationnelles des enfants à l'espace et institution*. Paris: CRECELE-CORDES, 1976; Idem. *Ce qui se trame // Parallèles*. №1. Juin 1976.

²⁹ J. Derrida. *Marges*. P. 287 (о метафоре).

³⁰ Бенвенист Э. *Заметки о роли языка в учении Фрейда // Он же. Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974. С. 124, 126.

³¹ Для Бенвениста речь «есть язык, присваиваемый говорящим человеком... в ситуации двусторонней субъективности (*intersubjectivité*)» (Бенвенист Э. *О субъективности в языке // Он же. Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974. С. 300.)

³² См. Фрейд З. *Толкование сновидений*. М.: Азбука-Классика, 2006. Гл. 6, § 1-4 – о смещении и сгущении, присущих работе сновидения.

Идентичность, предоставляемая городом, является лишь условной (номинальной): несмотря на неравенство позиций и ресурсов его граждан, в нем нет ничего, кроме мельтешения прохожих, сети обиталищ, временно присваиваемых пешеходами, ковьялянье сквозь подобие владений (*les semblants du propre*) – вселенная арендуемых пространств, населенная призраками не-мест или мест воображаемых.

Имена и символы

Тесную связь пространственных практик с отсутствием как раз и демонстрируют манипуляции, которым они подвергают имена собственные. Цель прогулки (*le sens de la marche*) и смысл слов (*le sens des mots*), казалось бы, направлены в противоположную сторону: первая экстравертна (гулять – значит выйти на улицу), второй – интровертен (мобильность при стабильном означающем). Ходьба, по сути дела, направляется семантическими тропизмами^{*}; пешехода влекут и отталкивают названия, смысл которых ему не вполне ясен. Город при этом становится для многих «пустыней», где бессмысленное, ужасающее можно уподобить уже не теням, а неумолимому свету, как в пьесах Ж. Жене, свету, не оставляющему в городском тексте ни одного темного места, проникающему всюду свету технократической власти, ставящему горожанина под контроль. Под чей контроль? Никто не знает. «Город пристально смотрит на нас, и взгляд его всегда вызывает головокружение», говорит жительница Руана³³. В пространствах, залитых безжалостным светом непонятно-чужого разума, имена собственные создают очаги скрытых и знакомых значений. Они «имеют смысл»; иными словами, придают движению импульс, подобно «внутреннему зову», заставляющему человека неожиданно менять свой маршрут, придавая ему новый, непредвиденный смысл/направление. Эти имена создают не-место внутри места, превращают его в зону перехода.

Мой приятель из Севра, приезжая в Париж навестить мать, перемещается в сторону Севрской улицы и улицы Сент-Пер^{**}, хотя те находятся совершенно в другой части города: его шаги складывают из этих топонимов предложение, о котором он даже не подозревает. Пронумерованные улицы и уличные номера (112-ая улица или улица Сен-Шарль, 9) могут не только преследовать во сне, но и ориентировать магнитное поле реальных маршрутов. Другая моя знакомая подсознательно избегает «именных» улиц, навязывающих ей идентичность, свой порядок и систему классификации и звучащих как повестка в суд. Она выбирает дороги без имени и подписи, но, таким образом, имена собственные подспудно направляют ее движения.

Что же выражают топонимы? Складываясь в созвездия, преобразующие поверхность города в систему, со своим порядком и иерархией значений, они призваны помочь ориентироваться в хронологии, утверждать легитимность тех или иных исторических деятелей или явлений. Постепенно первичные значения этих имен стираются, подобно монетам (Боррего, Ботцарис, Бугенвиль^{***}...), но их способность означать продолжает жить. Сент-Пер, Корантен Сэльтон^{****}, Красная площадь... они открыты разнообразию значений, вкладываемых в них прохожими. Отделившись от мест, которые они должны определять, названия служат воображаемыми точками маршрутов, действуя подобно метафорам – важен не буквальный, а переносный смысл (который прохожие или считают, или нет).

* Тропизм – направленное ростовое движение или изгиб органов растений, вызванные односторонним действием некоторого раздражителя (от греческого *τροπή* – поворот). – *Прим. перев.*

³³ Ph. Dard, F. Desbous et al. *La Ville, symbolique en souffrance*. Paris: CEP, 1975. P. 200.

** Севр – город, в настоящий момент – юго-западный пригород Парижа. В его направлении и ведет Севрская улица (в Средние века – Севрская дорога), в которую упирается улица Сент-Пер. – *Прим. перев.*

*** Парижские улицы. Название первой связано с мексиканской авантюрой Наполеона III (1863), вторая носит имя одного из деятелей греческого национально-освободительного движения (1821–1829), третья – известного французского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие в 1766–1769 гг. – *Прим. перев.*

**** Станция парижского метрополитена. Названа в честь деятеля Сопротивления, расстрелянного нацистами. – *Прим. перев.*

Топонимика, оторвавшись от реальных пространств, парит в небе над городом – странная география, чье небо, затянутое тучами, готово в любой момент выплеснуть «смысл», определяющий перемещения физического тела: Площадь Звезды, Площадь Согласия, улица Пуассоньер... Эти созвездия имен структурируют дорожное движение; по этим звездам прокладывают маршруты. «Площади Согласия* не существует, – говорил Курцио Малапарте, – это идея»³⁴. Больше, чем идея! И десятка метафор не хватит на то, чтобы описать магическую силу имен собственных – путешественник несет их, словно волшебное украшение из сказок, указывающее ему путь.

Объединяя шаги с поступками, открывая направления и смыслы, топонимы работают на опустошение и снашивание своей первичной роли; их пространство высвобождается. Благодаря семантической разреженности стало возможным писать поверх географии буквальных, запретных/разрешенных значений иную, поэтическую географию. В исторически функционалистском порядке передвижения топонимы намечают новые путешествия. Пешеходу остается воплотить их: «я наполняю это великое пустынное пространство прекрасными именами»³⁵. Он влеком останками смысла (а иногда – и его отходами), вывернутыми наизнанку следами великих амбиций³⁶. Отныне то, что направляет и наполняет смыслом шаги, суть вещи случайные, почти бессодержательные – имена, которые, в сущности, перестали быть «именами собственными».

Приведенные примеры демонстрируют нам три различные (но взаимосвязанные) функции отношений между пространственными и семиотическими практиками: **достоверность, достопамятность, первичность**. Эти функции обозначают то, что «санкционирует» (т.е. делает возможным или заслуживающим доверия) акты присвоения пространства; то, что повторяется и воскрешается в безмолвной и одинокой памяти; то, что в этих актах есть структурированного, каждый раз возвращающего нас к инфантильному (*infans*, не-говорящий), младенческому опыту. Три этих символических механизма организуют топосы городского дискурса (легенда, воспоминание, сон) особым образом, не поддающимся описанию в рамках урбанистической системности. Эти топосы можно распознать и в функциях имен собственных: последние облачают пространство в слова и тем самым делают его достоверным и обитаемым (они уже не могут классифицировать, но взамен получают власть «позволять чему-нибудь существовать»). Они воскрешают в памяти или вызывают к жизни призраков (мертвецов, которых посчитали навеки пропавшими), фантомов, всё еще витающих вокруг, скрытых в жестах и движущихся телах. Называя, т.е. сообщая извне некую историю, нечто от Другого, меняя функционалистский порядок, отделяясь от него, они поражают место эрозией – это и есть не-место, закон Другого.

Вещи достоверные и достопамятные: обитаемость

Парадоксально (но парадокс этот достаточно очевиден): наиболее убедительный дискурс отнимает у людей как раз то, во что он призывает их верить, и никогда не дает обещанного. Он не выражает и не описывает некую пустоту или нехватку, но создает ее. Он дает место пустоте. Можно сказать, что он проделывает отверстия; в системе четко определенных мест он создает возможность для некоторой игры. Благодаря ему в рамках такого сугубо аналитического устройства, как шахматная доска, направленного на классификацию отдельных сущностей, возникает игровое пространство (*Spielraum*). Он делает пространство обитаемым. Поэтому я называю такой дискурс «локальным

* Или «места Согласия»: по-французски «место» и «площадь» – омонимы. – *Прим. перев.*

³⁴ См. также эпиграф к книге P. Modiano. *Place de l'Étoile*. Paris: Gallimard, 1968.

³⁵ Ж. дю Белле. *Сожаления*, Сонет CLXXXIX.

³⁶ Например, Сарсель [пригород Парижа] – этот топоним раньше был символом амбициозных урбанистических проектов [массового жилья 1950-х], а теперь – их провала. Сарсель стал «именем нарицательным» в общепарижском масштабе, что придает городу «престиж» исключительной идентичности, пускай даже негативной.

авторитетом». Он – изъян в системе, насыщающей место значениями (более того, сводящей его к этим значениям так, что в нем становится «невозможно дышать»). Что характерно, функционалистский тоталитаризм (и распланированные им игры и празднества) как раз стремится ликвидировать эти «локальные авторитеты», так как они компрометируют однозначность системы. Тоталитаризм атакует именно то, что он совершенно верно называет **предрассудками**: излишними смысловыми наслоениями, избыточными надстройками³⁷, которые, действуя в отношении прошлого или в поэтическом измерении, меняют часть территории, которую поборники технической рациональности, эффективности и окупаемости зарезервировали для своих нужд.

В конечном счете имена собственные и есть «локальные авторитеты», или «предрассудки». Поэтому их заменяют на цифры: мы уже не вызываем по телефону «Опера» [Place de l'Opera] или «Кальвадос», а набираем «073» и «14». То же происходит с историями и легендами, этими «лишними» обитателями городского пространства – сама логика техноструктуры делает их жертвами «охоты на ведьм». Но их истребление (как и уничтожение деревьев, лесов и просто потайных мест, где живут легенды)³⁸ и превращает город в сеть символов, отложенных «до востребования»³⁹. Город перестает быть жилым. Как выразила это ощущение одна женщина из Руана: «никаких особенных мест не осталось, только мой дом, вот и всё... Ничего, совсем». Ничего «особенного», что бросалось бы в глаза, раскрывалось бы воспоминанием или рассказом, ничего, что было бы отмечено печатью Другого. Из вещей достоверных осталось лишь убежище в собственном доме – оно все еще открыто легенде и полно теней. А так, по словам другого горожанина, остались лишь места, «где уже не во что верить»⁴⁰.

Благодаря своей способности сохранять в своих недрах многообещающую тишину и собирать урожай бессловесных историй – или, вернее, дарить подвал и чердак каждому дому, – местные легенды (*legenda*: то, что *должно* быть прочитано, но также и то, что *может* быть прочитано) делают пространство открытым и, следовательно, жилым. Сейчас прогулки и путешествия подменили умершие легенды в роли «выпускных отверстий», способов уходить и возвращаться; теперь в иные миры уносят физические перемещения, а не «суеверия». Путешествие, как и ходьба – это субститут легенд, приоткрывавших пространство Иному. Оно возвращает нас назад, обращается в «изучение пустынных уголков памяти», помогая прийти кружным путем к вещам экзотическим и в норме недостижимым, хотя и существующим рядом, заново «открыть для себя» реликвии и легенды (не случайно книги и просто упоминания о них носят «ознакомительный» характер: «мимолетные образы французской провинции», «фрагменты музыки и поэзии»⁴¹). Здесь обнаруживается та самая «неукорененность в самом основании», о которой говорил Хайдеггер. И сегодня ходьба – это не просто путешествие, но в некотором смысле изгнание, она творит корпус новых легенд, взамен прежнего, утрата которого так чувствуется в наших кварталах; это вторичная реальность, творимая, подобно снам и пешеходно-речевому акту, в ходе смещений и сгущений⁴². Таким образом, мы можем приравнять практики означивания (рассказывания легенд) к практикам, создающим пространство.

В этой связи следует обратить внимание на содержание, а главное – на образующий принцип этих рассказов о местах. Они изготавливаются кустарным способом из обломков широких структур, из сора мира. Хотя художественная форма и актантные схемы «суеверий» соответствуют стабильным моделям, устройство и сочетания которых изучаются уже тридцать лет, само их содержание (все риторические детали на уровне «представления

³⁷ Ср. латинское *superstare*, означающее одновременно «быть сверху», «возглавлять» и «быть излишним».

³⁸ См. F. Lugassy. *Contribution à une psychosociologie de l'espace urbain. L'habitat et la forêt*. Paris: Recherche urbaine, 1970.

³⁹ Ph. Dard. F. Desbons et al.. *La Ville...*

⁴⁰ Ibid. P. 174, 206.

⁴¹ C. Lévi-Strauss. *Tristes tropiques*. Paris: Plon, 1955. P. 434-436.

⁴² То же можно сказать и о фотографиях, привезенных домой из путешествий – это субституты легенд об увиденных местах, которые сами становятся легендами.

материала») складывается из отрывков именований, таксономий, героических или комических предикатов – в общем, из разрозненных семантических фрагментов. Все эти разнородные и даже противоречащие друг другу элементы заполняют гомогенную форму рассказа. **Иное** и **избыточное** проникает в готовые рамки, внутрь заданного порядка – таковы же и отношения между пространственными практиками и выстроенным порядком. Его поверхность протыкается и разрывается утечкой, сдвигом, зиянием смысла; это протекающий порядок, порядок решета.

Словесные останки, из которых складываются рассказы, – следы утраченных текстов и плотных, трудных для понимания преданий – образуют коллаж: соотношение элементов здесь не является продуманным и именно потому образует символическое целое⁴³. Таким образом, в структурированном пространстве текста эти останки, эти лакуны создают анти-тексты, возникающие благодаря возможности скрываться и бежать, перейти в иной ландшафт, будь то чердаки или кусты: «о вы, груды множественных чисел» (“*ô massifs, ô pluriels*”)*.

Рассказы открывают путь рассеиванию, что и отличает их от **слухов**, которые всегда привносят элемент предписания, нивелируют пространство, объединяют народ в том или ином движении, которое усиливает порядок, добавляя к «повелению» убеждение. Рассказы вносят разнообразие, слухи – целостность. Если соотношение этих двух жанров всегда колебалось, то сейчас можно говорить уже о стратификации: рассказы отступают в сферу частной жизни, в закоулки кварталов, семейной и личной памяти, а слухи, разносимые масс-медиа, проникают всюду и, собранные под знаменем Города, – властное имя безличного закона, заменитель всех имен собственных – сражаются и истребляют любые предрассудки, всё еще сопротивляющиеся Городу.

Рассеянность рассказов указывает и на рассеянность запоминаемого. В самом деле, память – это анти-музей: ее невозможно локализовать. Ее всплески находят выражение в легендах. В вещах и словах тоже есть свои пустоты, где спит прошлое – как и в повседневных действиях (прогулки, еда, сон), где дремлют древние революции. Память – это прекрасный принц: он будит Спящую Красавицу наших бессловесных рассказов: «вот *здесь* когда-то была булочная», «вон *там* жила мамаша Дюпюи». И тут мы сталкиваемся с поразительным фактом: место, где мы когда-то жили, – это как бы присутствие отсутствия. То, что являет себя, указывает на отсутствующее, на то, чего уже нет: «*видите ли*, здесь *была...*». Указательные местоимения рассказывают о невидимых идентичностях видимого: по сути, место определяется сдвигами и столкновениями составляющих его фрагментированных слоев (и тем, как оно играет с их подвижной глубиной).

«С этим местом связано столько воспоминаний... Это личное, это больше никому не интересно, и все же, в конце-концов, именно это создает дух квартала»⁴⁴. Нет такого места, где не обитали бы мириады немых призраков; кто-то может их «вызывать», кто-то нет. Человек может жить только там, где обитают и призраки – принцип, противоположный тому, что лег в основу Паноптикона. Но, подобно средневековым статуям французских королей, когда-то украшавшим собор Парижской Богоматери, разбитым во время Революции и пролежавшим два века в подвале дома на улице Шоссе д’Антен⁴⁵, эти «духи», также расколотые на куски, говорят не больше, чем видят. Это знание молчаливо. О том, что известно, но безмолвно, можно говорить только намеками, «между нами».

⁴³ Символическими можно назвать элементы, чьи отношения не продумываются, но постулируются как необходимые. О символизме как о когнитивной схеме, характеризующейся «недостатком» мышления см.: D. Sperber. *Le Symbolisme en général*. Paris: Hermann, 1974.

* «О, вы, слова, спадающие складками, собранные по законам искусства, груды множественных чисел, вы, цветники гласных, рисунки строчек, тени непроизносимых букв, дивные кудри согласных, фиоритура точек и значков, – придите на помощь!» (F. Ponge. *La Promenade dans nos serrés* (1919) // *Oeuvres. Tome premier*. Paris: Gallimard, 1965. P. 146). – *Прим. перев.*

⁴⁴ Интервью с женщиной из квартала Круа-Русс, Лион (брал П. Майоль). См.: M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol. *L’Invention du quotidien, II, Habiter, cuisiner*. Paris: UGE 10/18, 1980.

⁴⁵ См. “Le Monde”. 1977. Mai 4.

Места – это фрагментарные и замкнутые на себе истории; документы прошлого, запечатанные Другим; сжатое время – его можно развернуть, но, подобно историям, оно хранится в запасе, в зашифрованном виде; наконец, это условные знаки, инкапсулированные в телесной боли или удовольствии. «Мне здесь хорошо»⁴⁶: это тоже пространственная практика – блаженство, которое существует в стороне от языка, но именно в нем на мгновение становится явным, освещая место, подобно вспышке.

Детство и метафоры мест

*Метафора есть перенесение на вещь имени, обозначающего другую вещь*⁴⁷.
Аристотель, «Поэтика», 1457b

Достопамятное – это то, что мы можем увидеть во сне про то или иное место. В местах-палимпсестах человеческая субъективность всегда связана с отсутствием, которое структурирует ее как существование и делает ее «здесь-бытием», *Dasein*. Но, как мы уже видели, здесь-бытие реализуется лишь в пространственных практиках, т.е. в способах идти к Другому. В нем, в конечном счете, следует видеть, под покровом разнообразных метафор, первоначальный и решающий опыт – отделение ребенка от тела матери. Посредством этого опыта становится возможным пространство и локализация субъекта (сменяющая его недифференцированную «вездесущность»). Нам здесь не нужно обращаться к знаменитому анализу Фрейда: полуторагодовалый внук ученого отбрасывал от себя деревянную катушку, с радостным криком «о-о-о», «fort!» (прочь), а потом притягивал к себе, с наслаждением восклицая «da!» (сюда, обратно)⁴⁸. Достаточно представить себе (полный опасности и удовольствия) переход от растворенности к отстранению от материнского тела (субститутом которого выступает катушка). Уход матери (иногда она исчезает сама, иногда ребенок заставляет ее исчезнуть) определяет место, занимаемое человеком в пространстве, и факт его внешнего положения [относительно мира]. Этот радостный маневр отодвигает материнский объект и, поскольку ребенок идентифицирует себя с последним, позволяет испытать **собственное** исчезновение, оказаться **здесь без** другого, но в необходимой связи с ним: так возникает первичная пространственная структура.

Без сомнения, в поисках изначального различия можно пойти еще дальше, к наречению ребенка именем, сразу отделяющим эмбрион мужского пола от матери – но как тогда с плодом девочки, который с того же момента ставится в другое отношение к пространству? В первых играх, например, с зеркалом, когда «ликующий» ребенок видит одновременно себя (целиком, как «он» или «она») и другого (как «это» – образ, с которым он себя отождествляет⁴⁹) для нас важен именно процесс присвоения (*captation*) пространством, делающий движение к другому законом бытия и законом места. То есть, в пространственных практиках мы повторяем бессловесно-ликующий опыт детства – **быть другим (по отношению к месту) и идти к другому**.

Так начинается прогулка, которую Фрейд сравнил с шагами по материнской земле⁵⁰. Описанное отношение пешехода к себе направляет внутренние изменения места (взаимодействия между его слоями) и разворачивание рассказов, скопленных в месте (т.е. путешествия и прогулки по городу). Детское восприятие и детский опыт, определяющие пространственные практики, все больше актуализируются – они распространяются на

⁴⁶ См. сноску 44.

⁴⁷ *Μεταφορὰ δὲ ἔστιν ὀνόματος ἄλλοτρίου ἔπιφορὰ.*

* Термин М. Хайдеггера. Философ так определяет конкретное человеческое бытие в мире. – *Прим. перев.*

⁴⁸ См.: Фрейд З. *По ту сторону принципа удовольствия // Очерки по психологии сексуальности*. М.: Попурри, 2008. С. 393-454; а также Sami-Ali. *L'Espace imaginaire*. Paris: Gallimard, 1974. P. 42-64.

⁴⁹ Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954-1955). М.: Гнозис, 1999. С. 508-516.

⁵⁰ S. Freud. *Inhibitions, Symptoms and Anxiety*. New York: Norton, 1977.

публичные и приватные пространства, размывая их схематические поверхности, превращая их в связный текст. Так в городе-плане рождается город подвижный и метафорический, воплощающий мечту Кандинского о «большом городе, прочно возведенном по всем архитектурно-математическим правилам, внезапно потрясенном чудовищной силой»⁵¹.

Перевод с французского А.А. Космарского

⁵¹ В. Кандинский. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992.